

Отец Горио

Про книгу

Молодой Растиньяк был наслышан о том хмуром человеке, которого называли не иначе как «папаша Горио». К этому пожилому мужчине в пансионате относились скверно и крайне недоброжелательно. Но однажды Растиньяк знакомится с этим таинственным мужчиной, чье лицо испещрено морщинами скорби и печали. Он узнает поразительную историю отцовской любви и жертвенности. Историю человека, который отдал все на благо счастливого будущего своих дочерей. Но то, что он получил взамен, не заслуживает ни один человек...

Оноре де Бальзак



Отец Горио





ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ
КЛАССИКИ



ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК



ОТЕЦ ГОРИО



Роман

ХАРЬКОВ  **КЛУБ**
2019  **СЕМЕЙНОГО**
ДОСУГА



Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2019

ISBN 978-617-12-7214-9 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:



Печатается по изданию:
Бальзак О. Отец Горио : роман / Оноре де Бальзак. — М., 1980.

Перевод с французского *Евгения Корша*

Дизайнер обложки *Владлен Трубчанинов*

В оформлении обложки использован фрагмент картины *Эдгара Дега* «Автопортрет с Эваристом де Валерне», 1865 г.

Видатний роман одного з кращих французьких романістів ХІХ століття! Молодий Растіньяк багато чув про похмурого чоловіка, якого називали не інакше як «батечко Горио». До старого в пансіонаті ставилися погано і вкрай недобррозичливо. Але одного разу Растіньяк знайомиться з цим таємничим чоловіком, чиє обличчя змережане зморшками скорботи та печалі. Знайомиться, щоб почути приголомшливу історію батьківської любові і

жертвості. Історію людини, яка віддала все на благо щасливого майбутнього своїх дочок. Але на те, що старий отримав натомість, не заслуговує жодна людина...

Бальзак де О.

Б21 Отец Горио : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Е. Корша. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. — 320 с. — (Серия «Шедевры мировой классики», ISBN 978-617-12-4211-1).

ISBN 978-617-12-6287-4

Выдающийся роман одного из лучших французских романистов XIX века! Молодой Растиньяк был наслышан о хмуром человеке, которого называли не иначе как «папаша Горио». К старику в пансионате относились скверно и крайне недоброжелательно. Но однажды Растиньяк знакомится с этим таинственным мужчиной, чье лицо испещрено морщинами скорби и печали. Знакомится, чтобы услышать поразительную историю отцовской любви и жертвенности. Историю человека, который отдал все на благо счастливого будущего своих дочерей. Но того, что старик получил взамен, не заслуживает ни один человек...

УДК 821.133.1

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2019

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2019

Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-Илеру в знак восхищения его работами и гением.

Де Бальзак

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет сорок держит семейный пансион в Париже на улице Нёв-Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. Пансион под названием «Дом Воке» открыт для всех: для юношей и стариков, для женщин и мужчин, — и все же нравы в этом почтенном заведении не вызвали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень скудно. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная юная девица. Как ни подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно, и не потому, что наша повесть драматична в настоящем смысле; но, возможно, что кое-кто, закончив чтение, прольет над ней слезу *intra* и *extra muros*¹. А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всей этой драмы, полной и местных наблюдений и местных красок, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа, в долине, знаменитой своими постройками из щебня, готовыми в любое время рухнуть, и водосточными канавами, черными от грязи; в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так жутко, что лишь необычайное событие может оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление; а все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и добрых чувств придает торжественность и величавость: перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости; но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице идола Джагернаута²: наехав колесом на человеческое сердце, но не такое хрупкое, как у других людей, она, едва запнувшись, уже крушит его и продолжает свой достопамятный путь. Вроде этого поступите и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «А может быть, все это развлечет меня?» Прочтя про

тайные отцовские невзгоды Горио, покушаете с аппетитом, а свою бесчувственность вы отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте: эта драма не выдумка и не роман. «All is true»³ — она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в себе самом, возможно, в своем сердце.

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же Воке. Стоит он в нижней части улицы Нев-Сент-Женевьев, где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой крутой, обрывистый подъем и спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует обычной тишине на улицах, запряганных в пространстве между куполом на Валь-де-Грас⁴ и куполом на Пантеоне⁵, где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и омрачая все суровым колоритом куполов. Здесь мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие; грохот экипажа является событием, дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно попавший туда парижанин не увидит ничего, кроме семейных пансионеров или учебных заведений, скуки или нищеты, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного.

Улица Нев-Сент-Женевьев, как некая бронзовая рама, достойна больше всех служить оправой этому рассказу, которое требует возможно больше серьезных мыслей и темных красок, чтобы читатель уже сначала проникся настроением, подобным чувству путешественника при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается протяжный голос провожатого. Верное сравнение! Кто решит, что более ужасно: взирать на черствые сердца или на пустые черепа?

Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нев-Сент-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенный

щербнем неглубокий желоб шириной в туаз⁶, а вдоль него песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого и синего фаянса. Для входа на дорожку с улицы сделана калитка; над ней прибита вывеска: «ДОМ ВОКЕ», а ниже: «Семейный пансион для лиц обоего пола и прочая». Если заглянуть днем в решетчатую калитку со звонким колокольчиком, то против улицы, в конце канавы, видна стена, где местный живописец нарисовал арку под зеленый мрамор, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе эмблему той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, свидетельствуя о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1777 году:

Кто б ни был ты, о человек,
Он твой наставник, и навек.

К ночи вход закрывают, уже не решетчатой дверцей, а глухой. Садик, шириной во весь фасад, заключенный между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, совершенно скрытого занавесой из плюща, настолько живописен для Парижа, что привлекает взор прохожих. Все стены вокруг сада затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, причем из года в год их пыльные и чахлые плоды становятся предметом опасений г-жи Воке и бесед ее с жильцами. Вдоль стен проходит узкая дорожка и ведет под кущу лип, или *липп*, как г-жа Воке, хотя и из рода де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально стриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, окрашенный зеленой краской, и вокруг него поставлены скамейки. В разгаре лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь, наслаждаясь

тенью, распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе такую роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже пять окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь и вкось. Боковой фасад лишь в два окна, при этом оба нижних без всяких украшений и забраны решеткой из железных прутьев. Позади дома двор шириною футов в двадцать, где в полном единении живут свиньи, кролики и куры. В глубине двора стоит сарай для дров; между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет весь домашний мусор, щедро пользуясь водой, чтобы очистить эту свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж был словно нарочно приспособлен под семейный пансион. Первая комната с окнами на улицу и стеклянной входной дверью представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, которая отделена от кухни клеткой лестницы, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной: стулья и кресла обиты волосяной материей в полоску, блестящую и матовую попеременно; середину гостиной занимает круглый стол с доской из черно-крапчатого мрамора, а на столе, для украшения, кофейный сервиз белого фарфора с потертыми золотыми ободками, какой найдешь теперь повсюду. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевыми обоями с изображением главнейших сцен из «Телемака»⁷, где действующие лица античной древности изображены в красках. В боковой простенке, между решетчатыми окнами, глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет сорок служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они тем самым ставят себя выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте

пода, топился лишь в самые торжественные дни, и ради украшения на нем стоят замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора, а по бокам их — два стеклянных колпака над ветхими букетами искусственных цветов в двух вазах.

В этой первой комнате стоит особый запах: он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать *запахом пансиона*. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду; отдает столовой, где только что кончили обедать; воняет кухмистерской, лакейской, богадельней. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части — эти особые, болезненные запахи, исходившие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на этот пошлый ужас, если сравните вы гостиную со смежной столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар.

Столовая, доверху обшита деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но он теперь уже неуловим и служит только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам — липкие буфеты, где пребывают щербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой — изделие Турнэ⁸. В одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить в них залитые вином или просто грязные салфетки, для каждого нахлебника отдельно. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отбросы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр, откуда вылезает капуцин, когда дождь уже пошел; мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит, — все в лакированных деревянных рамках с золочеными ободками; настенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравленую печь; кенкеты Аргана⁹, где пыль смешалась с маслом; длинный стол, покрытый клеенкой, настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем за неимением стилоса; искалеченные стулья; соломенные жалкие циновки — в вечном

употреблении и без износа; затем дрянные грелки с развороченными продушинами, обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива, — понадобилось бы целое описание, но это затянуло б развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол — в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию, нищеты потертой, скаредной, сгущенной. Хотя она еще не грязь, но полна пятен, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот г-жи Воке, вскакивает на буфеты и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном, потрепанном ее лице выступает нос, прямо из середины, как клюв у попугая; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь — все гармонирует с залой, где сочится горе, где притаилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теплый, смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками глаза выражают все переходы от деланной улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика — словом, ее личность предопределяет назначение пансиона, как пансион определяет назначение ее личности. Каторга не бывает без надсмотрщика — одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки — такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть следствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около пятидесяти лет вдова Воке похожа на всех женщин, *выдавших виды*. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг раскипятиться, чтобы взять подороже,

а впрочем, для облегчения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю и Жоржа¹⁰, если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы еще раз. При всем этом она, в сущности, баба неплохая, говорят о ней нахлебники и, слыша, как она кряхтит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? Ему не повезло, — гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, толстуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший тридцать франков в месяц.

Ко времени начала этой повести жильцов-пансионеров было семь. Второй этаж состоял из двух помещений, лучших в этом доме. В одном — поменьше — жила сама Воке, другое занимала мадам Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республики. С ней проживала совсем юная девица Викторина Тайфер, которой мадам Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до тысячи восьмисот франков. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую — человек лет сорока, в черном парике и с крашеными бакенбардами, который выдавал себя за бывшего купца и звался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну — старая дева мадемуазель Мишоно, другую — бывший фабрикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папашей Горио. Две остальные комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадемуазель Мишоно и папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти франков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неимением лучшего: уж очень много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его

родных пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтоб высылать ему тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк — так его звали — принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и готовят себе блестящую судьбу, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособив свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его умения войти в парижские салоны колорит повести утратил бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку, его прозорливому уму и его стремлению проникнуть в тайны одной трагической судьбы, как ни старались их скрывать и сами виновники ее, и ее жертва.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка.

Помимо семерых нахлебников-жильцов, г-жа Воке кормила, глядя по году, однако же не меньше восьми, — студентов, юристов или медиков, да двух-трех завсегдатаев из своего квартала — все абонированные только на обед. К обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно было посадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь семеро жильцов, причем их сборище за завтраком имело вид семейной трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу одежды или облика нахлебников со стороны, по поводу событий вчерашнего вечера, беседуя по-дружески и откровенно. Эти семеро пансионеров являлись баловнями г-жи Воке, с точностью астронома отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от цены за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа платили всего лишь семьдесят два франка в месяц. Такая дешевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо, между Сальпетриер и Бурб¹¹, где плата за содержание г-жи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему зрелищу всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегдатаев

его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье — словом, одна *видимость одежды*. На женщинах вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые, штопаные кружева, залоснившиеся от времени перчатки, неизменно желтоватые воротнички и на плечах дырявые платки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым — организм выдержал натиск житейских бурь, лица холодные, жесткие, полустертые, как изъятая из обращения монета. Увядавшие рты вооружены хищными зубами. В этих нахлебниках угадывались драмы уже законченные или еще в действии: не те, которые играют при свете рампы, в расписных холстах, а драмы, полные жизни или же застывшие, немые, но горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишоно носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей, плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет — так угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви, не промышляла ли торговлей старым платьем или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслаждения, старостью, обращавшей прохожих в бегство? Теперь ее пустой взгляд нагонял холод, загрубевшее лицо стало зловещим. Тонкий голосок звучал, как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, страдавшим от катара мочевого пузыря, а дети бросили его, решив, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишоно всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще хранило признаки когда-то белой, тонкой кожи, наводившие на мысль, что в формах ее тела осталось кое-что от прежней красоты.

Г-н Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на голове старая, помятая

фуражка, рука едва удерживает трость за пожелтевший набалдашник слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов, надетых будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких, трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху смотрит грязная белая жилетка и вылезает заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой расе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело это шишковатое лицо, что и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по министерству юстиции, в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником смотрителя, ведавшего народным здравием. Словом, этот человек, как видно, принадлежал к вьючным ослам на нашей великой социальной мельнице, к парижским Ратонам, даже не знающим своих Бертранов¹², был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несчастья и людская скверна; короче, одним из тех, о ком мы говорим: «Что делать, нужны и такие!» Эти бледные от нравственных или физических страданий лица неведомы нарядному Парижу. Но Париж — это настоящий океан. Бросьте в него лот, и все же глубины его вам не узнать. Не собираетесь ли обозреть и описать его? Обозревайте и описывайте, старайтесь как угодно: сколько бы ни было исследователей, как ни велика их любознательность, но в этом океане всегда найдется не тронутая ими область, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, упущенное водолазами от литературы. К такого рода чудищам относится и «Дом Воке».

Здесь две фигуры представляли разительный контраст со всей группой остальных пансионеров и нахлебников со стороны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой белизной, похожей на бледность малокровных девушек; правда, обычная в ней грусть, стесненная манера поведения, жалкий, хилый вид подходили к общему страдальческому настроению — основному фону всей картины, но

лицо ее не было старообразным, в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горемыка напоминала пожелтый кустик, недавно пересаженный в неподходящую почву. В желтоватых тонах ее лица, в рыжевато-белокурых волосах, чересчур тонкой талии проявлялась та грация, какую современные поэты видят в средневековых статуэтках. Исчерна-серые глаза выражали кротость и христианское смирение. Простое, недорогое платье облегло девические формы. В сравнении с другими можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой доле она бы стала восхитительной: поэзия женщины — в ее благополучии, как в туалете — ее краса. Когда б веселье бала розоватым отблеском легло на это бледное лицо, когда б отрада изящной жизни округлила и поддурманила слегка ввалившиеся щеки, когда б любовь вдохнула жизнь в эти грустные глаза, — Викторина могла бы поспорить с любой самой красивой девушкой. Ей не хватало того, что женщину перерождает: тряпок и любовных писем. Ее история могла бы стать сюжетом целой книги.

Отец Викторины находил какие-то причины не признавать ее, отказывался жить с ней вместе и не давал ей больше шестисот франков в год, а все свое имущество он обратил в такие ценности, какие можно было передать целиком сыну. Когда мать Викторины, приехав к дальней своей родственнице, вдове Кутюр, умерла от горя, г-жа Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К сожалению, эта вдова интендантского комиссара времен Республики не имела ровно ничего, кроме пенсии да вдовьего пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная девушка могла когда-нибудь остаться без нее одна, на произвол судьбы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Викторину к обедне, каждые две недели — к исповеди, чтобы воспитать ее на всякий случай благочестивой девушкой. Г-жа Кутюр была права. Религиозные чувства открывали какое-то будущее перед этим отвергнутым ребенком, который любил отца и каждый год ходил к нему, стараясь передать прощенье от своей матери, но ежегодно натывался в отцовском доме на неумолимо замкнутую дверь. Брат ее, единственный возможный посредник между ними, за все четыре года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал ей помощи ни в чем. Она молила Бога раскрыть глаза отцу, тронуть сердце брата и, не осуждая их, молилась за обоих. Для характеристики их варварского поведения

г-жа Кутюр и г-жа Воке не находили подходящих выражений в лексиконе бранных слов. В то время как они ругали бесчестного миллионера, Викторина произносила кроткие слова, похожие на воркованье раненого голубя, где в тоне скорби все еще звучит любовь.

У Эжена Растиньяка было лицо типичного южанина: кожа белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах, обращении, привычной выправке сказывался отпрыск аристократической семьи, где ребенок с малых лет воспитывался только на старинных правилах хорошего тона. Хотя Эжену и приходилось беречь платье, донашивать в будние дни прошлогоднюю одежду, он все же иногда мог выйти из дому, одевшись как подобало молодому франту. Но повседневно на нем был старенький сюртук, плохой жилет, дешевый черный галстук, кое-как повязанный и мятый, панталоны в том же духе и ботинки, уже сменившие свои подметки.

Посредствующим звеном между двумя описанными личностями и прочими жильцами являлся человек сорока лет, с крашеными бакенбардами, г-н Вотрен. Он принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят: «Вот молодчина!» Широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые, квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое и обходительное обращение. Не лишенный приятности высокий бас очень шел грубоватой его веселости. Вотрен был услужлив и любил посмеяться. Если какой-нибудь замок оказывался не в порядке, он тотчас разбирает его, подтачивал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Дело знакомое». Впрочем, ему знакомо было все: Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предлагал свои услуги; не раз ссужал он деньгами и самое Воке, и нескольких пансионеров; но должники его скорей бы умерли, чем не вернули ему долг, — столько страха вселял он, несмотря на добродушный вид, полным решимости, каким-то особенным, глубоким взглядом. Одна его манера сплевывать говорила о невозмутимом хладнокровии такого сорта, что Вотрен, наверно, не остановился бы перед преступлением ради выхода

из критического состояния. Взор его, как строгий судья, казалось, доходил до самой глубины всех вопросов, всех чувств, всякой совести. Образ его жизни был таков: после завтрака он уходил, к обеду возвращался, исчезал затем на целый вечер и приходил домой около полуночи, пользуясь благодаря доверию г-жи Воке запасным ключом. Один Вотрен удостоился такой милости. Он, правда, находился в самых лучших отношениях с вдовой, звал ее мамашей и обнимал за талию — не понятая ею лесть! Вдова совершенно искренне воображала, что обхватить ее — простое дело, а между тем лишь у Вотрена были руки достаточной длины, чтобы прижать к себе такую грузную колоду. Характерная для него черта: он, не скупясь, приплачивал пятнадцать франков в месяц за «глорию»¹³ и пил ее на десерт. Людей не столь поверхностных, как эта молодежь, захваченная вихрем парижской жизни, иль этих стариков, равнодушных ко всему, что непосредственно их не касалось, вероятно, не удовлетворило бы то двойственное впечатление, какое производил на них Вотрен. Он знал или догадывался о делах всех окружающих, а между тем никто не мог постигнуть ни рода его занятий, ни его мыслей. Поставив как преграду между другими и собою показное добродушие, всегдашнюю любезность и веселый нрав, он временами давал почувствовать страшную силу своего характера. Нередко раздражался он сатирой, достойной Ювенала¹⁴, где, видимо, с удовольствием осмеивал законы, бичевал высшее общество, уличал его во внутренних противоречиях, а это позволяло думать, что в собственной его душе живет злая обида на общественный порядок и в недрах его жизни тщательно сокрыта большая тайна.

Мадемуазель Тайфер делила свои украдчивые взгляды и потаенные думы между этим сорокалетним мужчиной и молодым студентом по тяготению, возможно безотчетному, к силе одного и красоте другого, но, видимо, ни тот и ни другой не думали о ней, хотя простая игра случая могла бы не сегодня завтра изменить положение Викторины и превратить ее в богатую невесту. Впрочем, среди всех этих личностей никто и не давал себе труда проверить, сколько правды и сколько вымысла заключалось в тех несчастьях, на которые ссылался кто-либо из них. Все отличались взаимным равнодушием с примесью

недоверия, вызванного собственным положением каждого в отдельности, все сознавали свое бессилие облегчить удручавшие их горести и, поделившись рассказами о них, исчерпали чашу сострадания. Как застарелым супругам, им было уже нечего сказать друг другу. Таким образом, их отношения сводились только к внешней связи, к движению ничем не смазанных колес. Любой из них пройдет на улице мимо слепого нищего не обернувшись, без волнения прослушает рассказ о чьем-нибудь несчастье и в смерти увидит разрешение проблемы нищеты, которая и породила их равнодушие к самой ужасной агонии. Среди таких опустошенных душ самой счастливой была вдова Воке, царившая в этом частном странноприимном доме. Маленький садик, безлюдный и в мороз, и в сушь, и в слякоть, пустынный, словно степь, ей одной казался веселой рощицей. Для нее одной имел прелесть этот желтый, мрачный дом, пропахший, как прилавок, дешевой краской. Эти камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников, присужденных к вечной каторге, и держала их в почтительном повиновении. Где еще в Париже нашли бы эти горемыки свежеприготовленную пищу в достаточном количестве по той цене, по какой она ее давала, и то пристанище, которое в их воле было сделать если не изящным или удобным, то по крайней мере чистым и невредным для здоровья? Позволь себе г-жа Воке вопиющую несправедливость — жертва снесет ее без ропота.

В подобном соединении людей должны бы проявиться составные части человеческого общества, они и проявлялись в малом виде. Как то бывает в школах и в кружках, и здесь, меж восемнадцати нахлебников, оказалось убогое, отверженное существо, козел отпущения, на которого градом сыпались насмешки. В начале второго года как раз эта фигура выступила перед Эженом Растиньяком на самый первый план из среды всех, с кем было суждено ему прожить еще два года. Таким посмешищем стал бывший вермишельщик, папаша Горио, а между тем и живописец и повествователь сосредоточили бы на его лице все освещение в своей картине. Откуда же взялось и это полузлое презрение, и смешанное с жалостью гонение, и это неуважение к чужой беде, постигшее старейшего жильца? Не сам ли он дал повод, не было ли в нем странностей или смешных привычек, которые

прощаются людьми труднее, чем пороки? Все эти вопросы тесно связаны со множеством общественных несправедливостей. Быть может, человеку по природе свойственно испытывать терпение тех, кто сносит все из настоящего смирения, по безразличию или по слабости. Разве мы не любим показывать свою силу на ком-нибудь или на чем-нибудь? Даже такое тщедушное создание, как уличный мальчишка, и тот звонит во все звонки входных дверей, когда стоят морозы, или, взобравшись на еще чистый памятник, пишет на нем свое имя.

Папаша Горио, старик лет шестидесяти девяти, поселился у г-жи Воке в 1813 году, когда ушел от дел. Первоначально он снял квартиру, ныне занимаемую г-жой Кутюр, и платил тысячу двести франков за полный пансион, словно платить на сто франков больше или меньше было для него безделицей. Г-жа Воке обновила три комнаты этой квартиры, получив от Горио вперед некоторую сумму для покрытия расходов, будто бы произведенных на дрянную обстановку и отделку: на желтые коленкоровые занавески, лакированные, обитые трипом кресла, кое-какую подмазку клеевой краской и обои, отвергнутые даже кабаками городских предместий. Быть может, на основании того, что папаша Горио, в ту пору именуемый почтительно г-н Горио, поймался на эту удочку, проявив такую легкомысленную щедрость, г-жа Воке составила себе мнение о нем как о дураке, ничего не смыслящем в практических делах. Горио привез с собой хороший запас платья, великолепный подбор вещей, входящих в обиход богатого купца, который бросил торговать, но не отказывает себе ни в чем. Вдова Воке залюбовалась на полторы дюжины рубашек из *полуголландского* полотна, особенно приметных своей добротностью благодаря тому, что вермишельщик закалывал их мягкое жабо двумя булавками, соединенными цепочкой, а в каждую булавку был вправлен крупный бриллиант. Обычно он одевался в васильковый фрак, ежедневно менял пикейный белый жилет, под которым колыхалось выпуклое грушевидное брюшко, шевеля золотую, массивную, увешанную брелоками цепочку. В табакерку, тоже золотую, был вделан медальон, хранивший чьи-то волосы, что придавало Горио вид человека, повинного в любовных похождениях. Когда хозяйка обозвала его «старым волокитой», на его губах мелькнула веселая улыбка мещанина, польщенного в своей страстишке. Его «шкапы» (это слово

он выговаривал на простонародный лад) были полны столовым серебром. У вдовы глаза так и горели, когда она любезно помогала ему распаковывать и размещать серебряные с позолотой ложки для рагу и для разливания супа, судки, приборы, соусники, блюда, сервизы для завтрака — словом, вещи, более или менее красивые, достаточно увесистые, с которыми он не хотел расстаться. Эти подарки напоминали ему о торжественных событиях его семейной жизни.

— Вот, — сказал он г-же Воке, вынимая блюдце и суповую чашку с крышкой в виде двух целующихся горлинок, — это первый подарок моей жены в годовщину нашей свадьбы. Бедняжка! Она истратила на это все свои девичьи сбережения. И я, сударыня, скорее соглашусь рыть собственными ногтями землю, чем расстаться с этим. Благодаря богу, я в остаток дней своих еще попью утром кофейку из этой чашки. Жаловаться мне не приходится, у меня есть кусок хлеба, и надолго.

В довершение всего г-жа Воке заметила своим сорочьим глазом облигации государственного казначейства, которые, даже по приблизительным расчетам, могли давать этому замечательному Горио тысяч восемь-десять дохода в год. С этого дня вдова Воке, в девицах де Конфлан, хотя ей минуло все сорок восемь лет, но по ее счету только тридцать девять, составила свой план. Несмотря на то, что внутренние углы век у Горио вывернулись, распухли и слезились, так что ему довольно часто приходилось их вытирать, она находила его наружность приятной и вполне приличной. К тому же его мясистые, выпуклые икры и длинный широкий нос предвещали такие скрытые достоинства, которыми вдова, как видно, очень дорожила, да их вдобавок подтверждало лунообразное, наивно-простоватое лицо папаши Горио. Он представлялся ей животным крепкого сложения, способным вложить всю душу в чувство. Волосы его, расчесанные на два «крылышка» и с самого утра напудренные парикмахером Политехнической школы, приходившим на дом, вырисовывались пятью фестонами на низком лбу, красиво обрамляя его лицо. Правда, он был слегка мужиковат, но так подтянут, так щедро брал табак из табакерки и нюхал с такой уверенностью в свои возможности когда угодно наполнять ее макубой¹⁵, что в день переезда Горио, вечером, когда Воке улеглась в постель, она, как куропатка, обернутая шпиком,

румянилась на огне желания проститься с саваном Воке и возродиться женою Горио. Выйти замуж, продать пансион, пойти рука об руку с этим лучшим представителем зажиточного мещанства, стать именитой дамой в своем квартале, собирать пожертвования на бедных, выезжать по воскресеньям в Шуази, Суази и Жантильи¹⁶; ходить в театр когда захочешь, брать ложу, а не дожидаться контрамарок, подаренных кое-кем из пансионеров в июле месяце, — все это Эльдорадо парижских пошленьких семейных жизней стало ее мечтой. Она не поверяла никому, что у нее есть сорок тысяч франков, накопленных по одному су. Разумеется, что в смысле состояния она себя считала приличной партией.

— А в остальном я вполне стою старикана, — сказала она себе и повернулась на другой бок, точно удостоверясь в наличии своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на перине, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия.

С этого дня, в течение трех месяцев, вдова Воке пользовалась услугами парикмахера г-на Горио и сделала кое-какие затраты на туалет, оправдывая их тем, что нужно же придать дому известный декорум в соответствии с почтенными особами, посещавшими пансион. Она всячески старалась изменить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем намерении пускать отныне лишь людей, отменных во всех смыслах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же начинала похваляться, что г-н Горио, один из самых именитых и уважаемых купцов во всем Париже, а все же оказал ей предпочтение. Г-жа Воке распространила специальные проспекты, где в заголовке значилось: «ДОМ ВОКЕ». А дальше говорилось, что «это самый старинный и самый уважаемый семейный пансион Латинского квартала. Из окон пансиона открывается наиприятнейший вид (с четвертого этажа!) на долину Гобеленовой мануфактуры, есть миленький сад, а в конце его *простирается* липовая аллея». Упоминалось об уединенности и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графиню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ждавшую окончания дела о назначении и утверждении пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, павшего на *полях* битвы. Г-жа Воке улучшила свой стол, почти шесть месяцев отапливала общие

комнаты и столь добросовестно сдержала обещания проспекта, что *доложила еще своих*. В результате графиня, называя г-жу Воке дорогим другом, обещала переманить к ней из квартала Марэ баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа Пикуазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пансионе, более дорогом, чем «Дом Воке». Впрочем, эти дамы будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии закончат их дела.

— Но канцелярии все тянут без конца, — добавила она.

После обеда две вдовы уединялись в комнате самой Воке, занимались там болтовней, попивая черносморозинную наливку и вкушая лакомства, предназначенные только для хозяйки. Графиня де л'Амбермениль очень одобряла виды хозяйки на Горио, виды отличные, да она и сама их разгадала с первого же дня и находила, что Горио — мужчина первый сорт.

— Ах, дорогая! — говорила ей вдова Воке. — Этот мужчина свеж, как яблоко, прекрасно сохранился и еще способен доставить женщине много приятного.

Графиня великодушно дала кое-какие указания Воке по поводу ее наряда, не соответствовавшего притязаниям вдовы.

— Надо вас привести в боевую готовность, — сказала она ей.

После долгих вычислений обе вдовы отправились в Пале-Рояль и в Деревянной галерее купили шляпку с перьями и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Маленькая Жанета», где они выбрали шарф и платье. Когда все это боевое снаряжение пустили в дело и вдовушка явилась во всеоружии, она имела сходство с вывеской «Беф а-ля мод». Тем не менее она сама нашла в себе такую выгодную перемену, что сочла себя обязанной графине и упросила ее принять на память шляпку в двадцать франков, хотя не отличалась тороватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать от графини одной услуги, а именно — выпросить Горио и показать ее, Воке, в хорошем свете. Графиня де л'Амбермениль весьма подружески взялась за это дело, начала обхаживать старого вермишельщика и наконец добилась беседы с ним; но в этом деле она руководилась желанием соблазнить вермишельщика лично для себя; когда же все покушения ее натолкнулись на застенчивость, если

не сказать отпор папаши Горио, графиня возмутилась неотесанностью старика и вышла.

— Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживиться! — сказала она своей подруге. — Он недоверчив до смешного; это дурак, скотина, скряга, и, кроме неприятности, ждать от него нечего.

Между графиней де л'Амбермениль и г-ном Горио произошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже оставаться с ним под одной кровлей. На другой же день она уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребывания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в пять франков. Как ни ретиво взялась за розыски г-жа Воке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о графине де л'Амбермениль. Она часто рассказывала об этом печальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную доверчивость, хотя была недоверчивее кошки; но в этом отношении г-жа Воке имела сходство со многими людьми, которые не доверяют своим близким и отдаются в руки первого встречного. Явление морального порядка крайне странное, но оно факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой душе; быть может, некоторые люди не в состоянии ничем снискать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружающие лица втайне выносят им заслуженно суровый приговор; но в то же время такие люди испытывают непреодолимую потребность слышать похвалы себе, а как раз этого не слышно, или же их снедает страстное желание показать в себе достоинства, каких на самом деле у них нет, и ради этого они стремятся завоевать сердце или уважение людей, им посторонних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец, есть личности, своекорыстные по самой их природе: ни близким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это делать их обязанность; а если они оказывают услуги незнакомым, они тем самым поднимают себе цену; поэтому чем ближе стоит к ним человек, тем они меньше его любят; чем дальше он от них, тем больше их старание услужить. И, несомненно, в г-же Воке соединились обе эти натуры, по существу мелкие, лживые и гадкие.

— Будь я тогда здесь, — говаривал Вотрен, — с вами не приключилось бы такой напасти. Я бы вывел эту пройдоху на чистую воду. Их штуки мне знакомы.

Как все ограниченные люди, г-жа Воке обычно не выходила из круга самих событий и не вдавалась в их причины. Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг этот убыток, то для нее главным виновником такого злочючения оказался честный вермишельщик; с этой поры у ней, как говорила она, раскрылись на него глаза. Постигнув тщету своих заигрываний и своих затрат на благолепие, она без долгих дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио имел свои, по выражению ее, *замашки*. Словом, он показал ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химерической основе и что от такого человека ей ничем не поживиться, как энергично выразилась графиня — видимо, знаток в этих делах. В неприязни г-жа Воке, конечно, зашла гораздо далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала не былой любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце делает передышки при подъеме на вершины сердечных отношений, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Однако Горио был все-таки ее жильцом, а следовательно, вдове пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдерживать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подавлять жажду мести, подобно монаху, который вынужден терпеть обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетворения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным рядом мелочных поступков. Вдова пустила в ход все женское лукавство, чтобы изобрести тайные гонения на свою жертву. Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено для общего стола.

— Никаких корнишенов, никаких анчоусов: от них один убыток! — объявила она Сильвии в то утро, когда решила вернуться к прежней своей программе.

Горио был человек скромных потребностей, и скопидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе богатство, вошло у него в привычку. Суп, вареная говядина, блюдо овощей всегда были и остались излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого нахлебника, затронув его вкусы, оказалась нелегким делом для Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с неуязвимым человеком, она стала подрывать уважение к нему, внушая свою неприязнь к Горио другим пансионерам, а те ради забавы способствовали ее мести.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте,
будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ